

Повести и рассказы // Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1956  
FB2: , 08.07.2010, version 1.0  
UUID: F2D28A52-9A27-4113-AEDA-8C7C7D603A86  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Викентий Викентьевич Вересаев

# Невыдуманные рассказы о прошлом

**Викентий Викентьевич  
Вересаев**

**Невыдуманные рассказы о  
прошлом**

## Случай на Хитровом рынке

**В** Москве, между Солянкой и Яузским бульваром, находился до революции широко известный Хитров рынок. Днем там толкся народ, продавал и покупал всякое барахло, в толпе мелькали босяки с жуликоватыми глазами. Вечером тускло светились окна ночлежных домов, трактиров и низкопробных притонов. Распахивалась дверь кабака, вместе с клубами пара кубарем вылетал на мороз избитый, рычащий пьянчуга в разодранной ситцевой рубашке. Ночью повсюду звучали пьяные песни и крики «караул».

В чулане одного из хитровских домов был найден под кроватью труп задушенного старика. Дали знать в полицию. Приехали товарищ прокурора и судебный следователь. Под темной лестницей, пахнувшей отхожим местом, — чулан при шапочном заведении. Поверху проходит железная труба из кухни заведения, — единственное отопление чулана. Чулан тесно заставлен мебелью. Под железною кроватью труп задушенного старика с багровым лицом. Ему хозяин шапочного заведения сдавал под жилье чулан. Все вещи це-

лы. В комодe найдена жестянка, в ней семнадцать рублей с копейками. Не грабеж. Кто убил?

Много помог следствию городской, давно служивший в той местности; все взаимоотношения, романы и истории рынка были ему хорошо известны. Найти виновника преступления оказалось очень нетрудно.

Убитый старик был когда-то начальником крупной железнодорожной станции, спился, попал на Хитров рынок. Под старость стал пить меньше. Скупал по тридцать, по сорок копеек старые шерстяные платья и из лоскутьев шил шикарные одеяла для хитровских красавиц, зарабатывал по шестнадцать — восемнадцать рублей в месяц. Считался богачом, имел постоянный заработок, свой угол.

Допрос свидетелей. Как будто раскрылся пол, и из подполья полезли жуткие, совершенно невероятные фигуры в человеческом обличье. Хозяин шапочного заведения, у которого убитый нанимал чулан, старик лет пятидесяти. Был очень пьян, пришлось отправить в участок для вытрезвления, и допросить его можно было только на следующий

день вечером. С опухшим лицом, сидит, сторбившись, в лисьей шубе. И вдруг начал икать. Это было что-то ужасное. Как будто все внутренности его выворачивались. Умоляет дать водки, чтобы опохмелиться.

Спрашивают об убитом. Он отвечает очень уклончиво. Ничего путного нельзя добиться. Наконец, сознался.

— Я его ни разу не видал.

— Как не видали? Он у вас уже пять месяцев живет!

— Извините! Я шесть месяцев без просыпу пьян. Как сукин сын, извините за выражение.

Оказалось, действительно все время пьет. Днем в трактире, вечером возвращается — спать. Ночью проснется, хрипит: «Водки!» Жена ему вставляет в рот горлышко бутылки. Утром проснется, опять: «Водки!» Встанет и идет в трактир. Дома только спит, пьет водку и бьет жену.

Пришлось для допроса призвать жену. Она кажется много старше своих лет, управляет мастерской, нянчит ребят, покупает мужу водку. На лице глубокое горе, но совершенно замороженное. Рассказывает обо всем равно-

душно.

Прежняя любовница убитого: бабища лет пятидесяти, толщины неимоверной, красная, вся словно налита водкой. Спрашивают у нее имя ее, звание. Она вдруг:

— Je vous prie, ne demandez moi devant ces gens-là![1]

Оказывается: дочь генерала, окончила Павловский институт. Вышла несчастно замуж, разъехалась, сошлась с уланским ротмистром, много кутила; потом он ее передал другому, постепенно все ниже, — стала проституткой. Последние два-три года жила с убитым, потом разругались и разошлись. Он взял себе другую.

Вот эта другая его и убила.

Исхудалая, с большими глазами, лет тридцати. Звали Татьяной. История ее такая.

Молодой девушкой служила горничной у богатых купцов в Ярославле. Забеременела от хозяйского сына. Ей подарили шубу, платьев, дали немножко денег и сплести в Москву. Родила ребенка, отдала в воспитательный дом. Сама поступила работать в прачечную. Получала пятьдесят копеек в день. Жила ти-

хо, скромно. За три года принакопила рублей семьдесят пять.

Тут она познакомилась с известным хитровским «котом» Игнатом и горячо его любила. Коренастый, но прекрасно сложенный, лицо цвета серой бронзы, огненные глаза, черные усики в стрелку. В одну неделю он спустил все ее деньги, шубу, платья. После этого она из своего пятидесятикопеечного жалованья пять копеек оставляла себе на харчи, гривенник в ночлежку за него и за себя. Остальные тридцать пять копеек отдавала ему. Так прожила с ним полгода и была хорошо для себя счастлива.

Вдруг он исчез. На рынке ей сказали: арестован за кражу. Она кинулась в участок, рыдая, умоляла допустить ее к нему, прорвалась к самому приставу. Городовые наклали ей в шею и вытолкали вон.

После этого у нее — усталость, глубокое желание покоя, тихой жизни, своего угла. И пошла на содержание к упомянутому старику.

Паспорту Татьяны вышел срок. Старик отобрал его и от себя послал на обмен. Она оста-

лась без паспорта и не могла уйти от старика. Вдруг воротился Игнат. Оказалось, он был арестован не за кражу, а только за бесписьменность: выслали этапом на родину, он выправил паспорт и воротился. Рыночные бабенки сейчас же сообщили Татьяне. Она отыскала его, радостно кинулась навстречу. Он за-сунул руки в карманы:

— Чего тебе надо?

Она остолбенела.

— Отыска-ала!.. На что ты мне такая? Худая, как холера. Я и тогда-то с тобой так только жил, от скуки. Скажите, пожалуйста: за такого мальчика — тридцать пять копеек! Я себе богатую найду.

Еле, наконец, до нее снизошел. Но она и тому была рада. Он ее бил, измывался, отбирал все деньги. И все попрекал стариком.

— Старика своего любишь, — ну, и иди к своему старику.

А она уйти от старика не могла: паспорт у него. А беспаспортную вышлют. А Игнат все измывался и утверждал, что она больше любит старика, чем его.

Татьяна вскочила:



— Ну, я ж тебе докажу, что больше люблю тебя!

Побежала домой и задушила спавшего старика.

И вот стали ее допрашивать. Худая, некрасивая, в отрепанной юбке, глаза волчонка, смотрит исподлобья. От всего отирается. Вдруг какой-то произошел перелом — и во всем созналась. Рассказывает о своей любви к Игнату, и вся преобразилась. Глаза стали большие, яркие, целые снопы лучей посыпались из них, на губах застенчивая, мягкая улыбка. Как красива становится женщина, когда любит!

Старик-следователь, раздражительный и сухой формалист, вначале грубо покрикивал на нее, но, как подвигался допрос, становился все мягче. А когда ее увели, развел руками и сказал:

— Вот не думал, чтоб на Хитровом рынке могла быть такая жемчужина!

Товарищ прокурора, уравновешенный, не старый человек, в золотых очках, задумчиво улыбнулся:

— Да-а... «Вечно-женственное» в помойной

яме!

Стали допрашивать Игната. Держится в высшей степени благородно, приводит всяческие улики против Татьяны, полон негодования.

— Дозвольте вам доложить: шкура и больше ничего-с! Какое безобразие, ну, скажите, пожалуйста! За что она старичка?

В один из допросов, когда товарищ прокурора допрашивал Игната, из соседней комнаты, от следователя, вышла Татьяна. Вдруг увидела Игната, вспыхнула радостью, подошла к нему, положила руки па плечи:

— Ну, Игнат, прощай! Больше не увидимся: я на каторгу иду.

Он дернул плечом, отвернулся и презрительно отрезал:

— Пошла прочь... Стерва!

Товарищ прокурора вспыхнул и возмущенно крикнул:

— Сукин ты сын!.. Негодяй!..

Городовые, и те негодуяще замычали. Стоявший в дверях следователь злобно плюнул.

Она низко опустила голову и вышла.

## Проклятый дом

На одной из больших улиц Замоскворечья стоит вычурно-красивый, угрюмо-пестрый дом. Вот что рассказывают про этот дом. Его выстроил для себя один богатый сибирский золотопромышленник. Заказал архитектору проект, одобрил, заключил договор. В договор промышленник ввел огромную неустойку, если работа не будет закончена к условленному сроку. Все время при стройке придирался, тормозил, заставлял снова и снова переделывать. Архитектор увидел, что попал в когти дьявола, что к сроку заказа не кончит; уплатить же неустойки он не имел возможности. И повесился в этом самом доме, который построил.

Хозяин поселился в доме с девушкой-дочерью. Она влюбилась в певца итальянской оперы. Отец, конечно, и думать ей запретил о подобном замужестве. Она убежала с итальянцем за границу. Отец остался жить один в огромном доме. Сильно злобился на дочь и сильно по ней тосковал. Тоска победила. Поехал за границу отыскивать дочь. Отыскал ее, брошенную итальянцем, в нужде, беремен-

ную.

Привез обратно. И тут победила злоба. Он замуровал дочь в светелке над вторым этажом. Дверь наглухо заделал кирпичами, оставил только маленькое окошечко; в него ей подавали еду и питье. Подкупленная прислуга молчала.

Пришло время ей родить. Ее крики и стоны разносились по всему дому. Отец запретил оказывать ей какую-либо помощь, сидел у себя в кабинете и три дня слушал, как по гулким комнатам обеих этажей носились ее стоны и вопли. В ночь на четвертый день все стихло. В светелке нашли мертвую мать и мертвого младенца.

А для отца дом продолжал оставаться полным стонами и криками. Он не спал по ночам и все время расхаживал в халате по ярко освещенным комнатам особняка. Наконец, не выдержал и уехал куда-то за границу. Дом до самой революции стоял пустым.

## **Фирма**

В 1899 году в иллюстрированном еженедельнике «Нива» печатался новый роман

Льва Толстого «Воскресение». Везде только о нем и говорили. Возвращался я в Петербург в спальном вагоне третьего класса. Среди трех спутников — старик купец в высоких сапогах, в пиджаке. Заговорили о романе. Купец:

— Плохо, плохо! Я «Ниву» получаю, читаю, — очень плохо! Как раньше-то писал! «Казачи»! «Анна Каренина»! «Война и мир»! Вот это было дело! А теперь!.. Нет, устарел! На чердак пора ему. Куда старую мебель убирают... Что же это, скажите, пожалуйста: князь, человек живет в почете, имеет звание, человек, можно сказать, вращается, — и вдруг на такой швали жениться! Какая же она ему пара, позвольте спросить? И у кого таких девчонок не было? Кто не грешен? И у вас, наверное, десять таких было, и у меня, может, двадцать. И на каждой жениться!.. Нет, на чердак, на чердак пора! Плохо! Потому только все и читают, что подписано: «граф». Фирма!

## **С опозданием**

Петербург. Окраина. Узкие ломовые сани, на них высоко громоздились деревянные ящики с гвоздями. Поклажа кренилась на сто-

рону. Возчик, — парень в полушубке, — шагнул рядом с санями и растерянно подпирал плечом накренившийся воз. Приказчик у дверей лабаза с любопытством смотрел. Легковые извозчики у трактира тоже с любопытством смотрели и переговаривались:

— Завалится!

— Бесперечь завалится!

— Как бы парня не придавило.

— И очень просто! Сколько народу погребали тяжести. А он, дурень, сбоку улицы едет, еще больше набок накреняется воз...

Поклажа качнулась, и ящики тяжело посыпались на возчика.

Приказчик лабаза со всех ног кинулся на помощь. Извозчики, подобрав полы синих армяков, побежали туда же. И отовсюду сбегался народ. Мигом разобрали ящики. Парень-возчик лежал с восковым лицом, с закрытыми глазами, из угла губ стекала вниз струйка крови.

## **Парикмахер по собачьей части**

— Я, как вам сказать? Извините меня за это выражение, — парикмахер по собачьей

части. В деревне так если скажешь — засмеют, а в Петербурге можно на этом хорошие дела делать. Вот я, например. Как видите, милостыни не прошу, не ворую, не граблю, а живу, благодарение богу! Кабы еще водочкой не занимался, у меня бы теперь вот этакий дом был. Рублей полтора ста в месяц смело вырабатываю... Бывает ли, что кусают? Нет, меня не кусают, я понимаю их характер. Недавно приходит ко мне господин.

— Это вы, голубчик, в газетах публикуетесь? Нужно остричь моего пуделя, только заранее предупреждаю: он никого к себе не подпускает. Если искушает, я не отвечаю.

— Ничего, не извольте беспокоиться.

Пришел. Злющая собака. Даже горничная, которая ее кормит, — и та боится.

— Дайте мне, — говорю, — мокрое полотенце. Да не найдется ли у вас комната отдельная, чтоб никто мне не мешал?

Заперли пуделя в комнату. Взял я полотенце, разом открыл дверь, вошел, да строго так:

— Что тут за шум?

Да как ахну полотенцем мокрым по стене! Пудель очень даже этому удивился. Подошел

я к нему и начал машинкой стричь. А он все сидит и удивляется. Горничной интересно было, стала в замочную скважину глядеть. Пудель оскалил зубы, зарычал.

— Кто это там? — говорю кротким голосом. — Не мешайте, пожалуйста.

И остриг. Пять целковых получил за это дело... Никогда не нужно бить собаку, чтобы, например, отучить гадить, — особенно плеткой. Всего больше собака боится — шуму. Скольких я отучил! Нужно бить по полу мокрым полотенцем или клеенкой, а собаку тыкать, куда следует. В один раз отвыкнет.

Да! Много случается видеть!.. Графиня одна уезжала на лето за границу и мне свою болонку оставила на содержание. И нужно же: сегодня графиня приехала, а собачонка за день до того сдохла. Старая собачонка, паршивая, — вы бы ее за три сажени обошли кругом. Принес я ее, дохлую. И что же вы думаете? Графиня этому дохлому псу начала лапки целовать! Сама плачет, заливается. Вижу, тут можно делов наделать. Послунявил потихоньку палец себе, намочил глаза. Стою, всхлипываю:



— Уж как жалко! Какая аккуратная была собачка, до чего чувствительная! Как будто у самого меня дите померло!

Она заливается, а я стою, нос себе утираю да рожи строю.

— Ваше сиятельство! Уж не говорите! До чего мне даже тяжело, — что же вам-то!

Она говорит:

— Можете вы с нее лапochку снять, чучельнику отдать, чтоб хоть лапochка мне осталась на память?

— Это, — я говорю, — можно.

— И потом: я хочу ее похоронить. Можете вы это взять на себя? Только чтоб я сама не видела, а то у меня сердце, говорит, разорвется на части.

— Это тоже можно. Не мое это собственно дело, но для вас... Опять же и для собачки, — потому уж очень я ее любил... Можно будет, не извольте беспокоиться!

— Гробик чтобы обить голубым атласом... Сколько все это будет стоить?

— Десять рублей чучельнику, три рубля чухонцу, чтоб отвез гробик, — здесь, в Петербурге, нельзя. Ну, гробик чтобы был вполне

приличный, все прочее — рублей пятна-  
дцать...

А сам думаю:

«Дай ты мне, дура, в морду за мое замеча-  
тельное нахальство!»

— Ну, — говорит, — вот вам тридцать пять  
рублей.

Я собачонку в мешок и, конечно, на пусты-  
ре забросил, а деньги в карман. Вот какие бы-  
вают графини! Прислуга умирай у нее, ей де-  
ла не будет — убирайся в больницу! А для  
паршивой собачонки что готова делать!.. Вот  
я вам теперь объяснил всю дурость Петербур-  
га.

### **«Бог соединил»**

Были замедленные встречи у колодца вес-  
ною, когда из темневшего барского сада несло  
душистым тополем и цветущей черемухой.  
Были потом возвращения с посиделок зимою,  
когда шли они вдвоем под одним тулупом и  
она сладко отдавалась его поцелуям и горя-  
чим ласкам. Потом поженились, и два года  
прошло, как счастливый сон.

Но земельный надел был малый, для обра-

ботки его хватало сил одного старика-свекра. Брат его, живший в Петербурге, устроил ее мужа артельщиком. Стал он порядочно зарабатывать, подавал домой. А потом, как часто бывает, когда долго живут врозь, стал он подавать все меньше, сошелся там с другою женщиною, написал жене: «Я тебя больше не знаю», — и совсем перестал подавать. Тогда старики не захотели ее больше держать.

Поступила она в городе Вене в прислуги. Тосковала о муже, о былом счастье. Подвернулся ласковый парень, нежно слушал ее, сочувствовал. Она — больше из благодарности — уступила его настояниям, хотя сама мало от этого испытала радости: совсем не то это было, что раньше с мужем, — даже странно, до чего было иначе. Забеременела. Тогда парень перестал быть ласковым и исчез. Деваться было некуда, все отшатнулись. Барыня брезгливо дулась и качала головою. Пересиливая себя, она работала до последнего часа. Уже с родовыми схватками ставила вечером самовар для господ. До крови раскусала губы, чтобы не кричать. Ночью ушла на двор и рано утром родила ребенка в отхожее место. Ко-

нечно, сейчас же нашли. Ее арестовали. Судили. Присяжные оправдали: она утверждала, что ничего не помнила. Подруге потом рассказывала: «Присяжные поверили; а я и вовсе все помнила». После того долго еще чудился по ночам плач и писк захлебывающегося в яме ребенка.

Переехала в Москву. Опять поступила в прислуги. Радостно и гордо рассказывала, что у нее в Петербурге есть муж. Обзавелась новым любовником. Теперь это для нее стало просто, как воды напиться, когда захотелось пить. Только один еще шаг до проституции. После ужаса родов в отхожем месте все в жизни стало для нее грубым, темным и простым.

Неожиданно приехал из Петербурга муж, отыскал ее, стал просить дать ему развод.

— Ни за что!

Он с месяц жил в Москве, подстерегал, чтоб уличить ее в «прелюбодеянии». Но она стала очень осторожна и не позволяла любовнику приходить. Муж просил, на коленки становился, сулил денег.

— Нет, ни за что! Нас бог соединил.

Что это было? Мстительность, злоба? Не

мне, так не доставайся никому? Нет. Для нее их действительно соединил бог, — бог света и жизни. И ей казалось: если они опять сойдутся, то темная, грубо-простая жизнь опять станет для нее значительной и светлой.

И, может быть, она была права.

\*\*\*

У нестарой еще бабы с шестью ребятами умер от сыпного тифа муж. Она иступленно плачет, проклиная бога.

— Больно уж выстарился, ничего не понимает! Сидит себе и смотрит сверху. Что он может видеть, что понимать? Как я его молила, как просила! Нет, не умолила, — взял! А для чего взял? Сам не знает. Выстарился, творит, незнамо что. Взял бы суседа, — восемьдесят лет прожил. Так не! Давай ему молодого! А это ничего, что вдова с шестью ребятами остается? Нет, довольно терпеть! Так бы вцепилась в бороду его седую!

\*\*\*

Киево-Печерский монастырь. Внизу зеленого откоса с бесконечными лесенками, под

огромными вязами, — Почаевский колодезь с навесом. Всюду цветут вишни, в бойницах монастырской стены синее Днепр. Около колодца несколько исструганных дубовых колод. Близ каждой по несколько женщин со- стругивают с них перочинными ножами стружки.

На одной из колод сидела баба средних лет с костылями. Тамбовская. Зипун, синяя понёва. Лицо плакало, рот некрасиво расширялся, слезы текли по носу и подбородку. Рассказывала:

— Первые сто верст шла от своих мест, как играла. А потом, — продуло, что ли, — ноги и отнялись! Доехала кое-как на машине, а от вокзала сюда три версты на карачках приползла. Две недели в печерской больнице пролежала. Вот только сегодня как будто чуть-чуть полегчало, приползла сюда. Говорят, от стружечек этих святых большая бывает помощь.

Стоял и смотрел молодой купец с красным затылком, в лаковых сапогах и длиннополом сюртуке. Спросил:

— Это вы для чего колоду стругаете?

Одна из стругавших ответила:

— Знаете, по деревенскому обычаю: зубы заболели или что, стружечку святую приложишь, — и пройдет. Лекарства покупать достатку у нас нету. Вот мы больше святостью и лечимся.

— Ну да! — подтвердила другая. — Скажем, дитя заболело. Обкурить его этой щепочкой вместе с ладаном, — и все пройдет.

Молодица с лукавыми глазами засмеялась.

— Вот! Одна начинает скрести, за нею другие следом... Не знают сами, что делают!

Купчик авторитетно стал объяснять:

— Тут вера помогает, а не стружки. В Твери у нас было: купчиха одна сильно очень животом маялась. Доктора никак пособить не могли. Вот послала она кучера своего к святому Нилу Столбецкому настругать стружек с его столба святого, на котором подвизался. А кучер себе и говорит: «Лучше же я это время в трактире на большой дороге просижу, а стружек можно где хочешь достать». Настругал стружечек мелких у старого колеса, привез. Женщина съела — и выздоровела. От чего же она выздоровела? От колеса? От ве-еры!

Баба, сидевшая на бревне, жадно слушала и качала головой.

— Вот видишь, помог, значит, святитель!.. — И с глубоким, истерическим вздохом произнесла: — Все святые преподобные, молитесь бога за меня, грешную!

Перекрестилась, наклонилась к колоде и стала ее стругать.

## **На деревенском базаре**

Становой. — Это что у тебя?

— Поросята, ваше высококородие!

— Дурак! Я сам вижу, что поросята! А вопрос, — жирные ли?

— Очень жирные, ваше высококородие!

— Дурак! Я и сам вижу, что жирные. А вот — вкусные ли?.. Понял?

— П-понял...

## **На пожарище**

Уже в начале августа иногда бывает: солнце печет, а в тени холодно, ночи же — совсем студеные. Под вечер я был в Занине. Неделю назад оно сторело. Перед тем долго была сушь и жара, народ весь был в поле, загорелось



днем при сильнейшем ветре. В полчаса всю деревню как слизнуло языком.

Стояла деревня на обоих отлогих склонах лощины. Теперь это было широкое пространство, ровное, как ток, усеянное мелким пеплом, и только закопченные печи стояли горбатыми уродами. Сзади — ивы и березы с рыжею, сморщившеюся листвою. В гору — конопляники, тоже вначале рыжие, обгорелые. На маху несколько уцелевших риг. Из ручья торчат обгорелые столбы моста. Плотина тоже сгорела, пруд убежал.

У сложенной из кирпичей печурки — сухая старуха в рваной ситцевой юбке и кацавейке, со слезящимися глазами, молодая девушка и двое мальчиков. В котелке что-то кипит.

— Хлеб вы уже убрали?

Старуха ответила громким, равнодушным голосом:

— Убрали, свезли — и пожгли!

Я с недоумением огляделся.

— Где же вы теперь живете-то?

— В риге дрожим. Ночи-то холодные, одежда вся погорела, подостлать нечего, покрыться нечем. Лежим друг возле дружки и дро-

жим!

Говорила она все так же громко и равнодушно, поучающим голосом, как будто читала лекцию. Подошел мужик с русой бородой, в серой поддевке.

— Отчего загорелось?

Мужик ответил:

— Кто ж его знает!

А старуха сказала:

— Шпитонок, говорят, — значит, из воспитательного дома, — стал ребятам показывать, как пчел выкуривают.

— Ну, бабы болтают, — тоже, верить им! Одна мелет, другая подлыгает.

Говорил он тоже спокойно, с легкой усмешечкой.

— Страховку вы получите?

— Ну, как же! Получим! Богато получим, — от сорока до восьмидесяти рублей! А у Семибратова купить, — один сруб семьдесят два рубля стоит. А погорело-то ведь все, — колеса, хомуты, одежда, телеги, сани, — лошадь обротать нечем! Прольешь — не подгробешь. Все ведь новое надо заводить.

Подошло еще несколько мужиков.

— Ну, а бочки, багры, — это все у вас было?  
Первый мужик ответил:

— Самое это, я вам скажу, пустое дело — багры! Ведра, — больше ничего не надо.

— Почему?

— А потому. Моя вон изба: всю ее баграми растащили. Заплатить мне за нее ничего не заплатят, — не сгорела, а чем мне лучше, нежели другим? Все побили, все поломали, порвали...

— Так ведь из леса опять можно избу сложить.

— Как ее сложишь? — заметил другой.

А первый продолжал:

— Изба-то ведь жилая была, гнилая, — тронули, и рассыпалась! Эх, бра-ат!.. Вот теперь и иди по миру, ни копейки ведь мне штраховки не дадут.

Постепенно он начинал говорить все взволнованнее, губы запрыгали, на глазах выступили слезы.

— Я на багор ругаюсь, — зачем инструмент этот такой вредный! Пускай уж, гори все подряд! Пропадай пропадом! Зачем же они мне жизнь мою изломали?!.

И из груди его вырвалось короткое, глухое рыдание.

Подошедшие мужики стали рассказывать про пожар:

— Горело так, что в Марьине было жарко стоять. Из губернии запрос: «Что там такое жарко так горит?» И телеграммы об нас: «Занино! Занино!» Так со всех сторон и забирало. Прибежали с поля, бросились спасать, — куда тебе! Вихорь так и рвет, так и крутит, — со всех сторон охватило. Только и выходу, что к пруду. Так было жарко — вода в пруде закипала. Сундук в воду бросили, — он плавает, а верх горит. Одна баба сгорела, другую, в огне всю, бросили в пруд, чуть не утопла. На другой день в Ненашеве в больнице умерла, от ожогов.

Третий сказал:

— Ну да! Ведь свое добро, — жалко! Лезет баба в избу, кругом все горит, волосы на ней трещат, а она вот так рукой заслонится и тащит сундук.

— Много все-таки спасли?

— Куда там! Дай бог самим было живую уйти!

Первый мужик — опять совсем уже спокойный — сказал, смеясь:

— Вбежал я в пруд, кричу: «Дядя Матвей, ведь ты горишь!» А он мне: «Да ведь и ты горишь!» Хвать — ан вправду картуз на голове горит! И оба мы с ним в картузах — нырк в воду!

В холодавшем воздухе стоял дружный смех.

\*\*\*

— Как тебя звать?

— Юра, а по батюшке — Георгий!

Отец с отчаянием:

— Юрка, ну что ты за дурак такой! Как твоего отца звать? Ведь Сергей!

Юра, покраснев:

— А как же, когда меня батюшка в церкви приобщает, он меня называет Георгий?

\*\*\*

— Я бы шофером хотел быть. Да не на что будет жить: платить не станут.

— Почему не станут платить?

Ванька удивился:

— За что же платить?

\*\*\*

— Мама, ты меня любишь?

— Когда ты хороший мальчик, — люблю, а когда нехороший, — не люблю.

Вздохнул.

— А я тебя всегда люблю.

\*\*\*

Перед окном кондитерской. Маленький мальчик пристально глядит на пряник. Я спросил:

— Что, брат, хорош пряник? Давай-ка купим!

Он ответил басом:

— Денег нет.

— А мы, давай, вот что: поделим работу. Я пойду куплю, а ты съешь.

Он помолчал, подумал и сказал:

Ну, ладно.

Так и сделали. И оба получили большое удовольствие.

\*\*\*

Иду в Крыму по саду нашего дома отдыха. С горы навстречу, выпучив глаза, мчится со всех ног мальчугашка лет пяти.

— Дяденька, беги!

— Чего мне бежать?

— Беги скорей! Сторожа пришли!

— Чего мне бежать от сторожей?

Он остановился на бегу, с недоумением оглядел меня:

— За уши оттреплют!

И помчался дальше.

Вот подите: такая ужасная опасность, каждая минута на счету, а он все-таки остановился, чтобы предупредить меня. Спасибо, товарищ!

## **Всю жизнь отдала**

Трамвайный вагон подходил к остановке. Хорошо одетая полная дама сказала упитанному мальчику лет пяти:

— Левочка, нам тут сходить.

Мальчик вскочил и, толкая всех локтями, бросился пробиваться к выходу. Старушка отвела его рукою и сердито сказала:

— Куда ты, мальчик, лезешь?

Мать в негодовании вскричала:

— Как вы смеете ребенка толкать?!

Высокий мужчина заговорил громким, на весь вагон, голосом:

— Вы бы лучше мальчишке вашему сказали, как *он* смеет всех толкать? *Он* идет, — скажите, пожалуйста! Все должны давать ему дорогу! Он самая важная особа! Растите хулиганов, эгоистов!

Мать возмущенно отругивалась. Мальчик с открытым ртом испуганно глядел на мужчину.

Вагон остановился, публика сошла. Сошла и дама с мальчиком. Вдруг он разразился отчаянным ревом. Мать присела перед ним на корточки, обнимала, целовала.

— Ну, не плачь, мальчик мой милый! Не плачь! Не обращай на него внимания! Он, наверно, пьяный! Не плачь!

Она взяла его на руки. Мальчик, рыдая, крепко охватил ее шею. Она шла, шатаясь и задыхаясь от тяжести, и повторяла:

— Ну, не плачь, не плачь, бесценный мой!

Мальчик стихал и крепко прижимался к матери.



Пришли домой. Ужинали. Мать возмущенно рассказывала мужу, как обидел в трамвае Левочку какой-то, должно быть, пьяный хулиган. Отец с сожалением вздохнул.

— Эх, меня не было! Я бы ему ответил!

Она с гордостью возразила:

— Я ему тоже отвечала хорошо... Ну, что, милый мой мальчик! Успокоился ты?.. Не бери сливу, она кислая.

Мать положила сливу обратно в вазу. Мальчик с упрямыми глазами взял ее и снова положил перед собою.

— Ну, детка моя, не ешь, она не спелая, расстроишь себе животик... А вот, погоди, я тебе сегодня купила шоколаду «Золотой ярлык»... Кушай шоколад!

Она взяла сливу и положила перед мальчиком плитку шоколада. Мальчик концами пальцев отодвинул шоколад и обиженно нахмурился.

— Кушай, мальчик мой, кушай! Дай, я тебе его разверну.

Отец сказал просительным голосом:

— Левочка, дай мне кусочек шоколада!

— Не-ет, это для Левочки, — возразила

мать. — Специально для Левочки сегодня купила. Тебе, папа, нельзя, это не для тебя... Ну, что же ты, детка, не кушаешь?

Мальчик молчал, капризно нахмурившись.

— Ты, наверно, еще не успокоился?

Мальчик подумал и ответил:

— Я еще не успокоился.

— Ну, успокоишься, тогда скушаешь, да?

Мальчик молчал и не смотрел на шоколад.

Через двадцать лет. Эта самая дама, очень исхудавшая, сидела на скамеечке Гоголевского бульвара. Много стало серебра в волосах, много стало золота в зубах. Она с отчаянием смотрела в одну точку и горько что-то шептала.

Трудную жизнь она прожила. Еще до революции муж ее умер. Она собственным трудом воспитала своего мальчика, во всем себе отказывала, после службы давала уроки, переписывала на машинке. Сын кончил втуз инженером-электротехником, занимал место с хорошим жалованьем. И вот — она сидела, одинокая, на скамеечке бульвара под медлен-

но падавшим снегом и горько шептала:

— Я, я ему всю жизнь отдала!

Они с сыном занимали просторную комнату в Нащокинском переулке. Сын задумал жениться. Сегодня она получила повестку с приглашением явиться в качестве ответчицы в суд: сын подал заявление о выселении ее из комнаты. Уже четыре года назад, когда они получили эту комнату, Левочка предусмотрительно вписал мать проживающею «временно». Это больше всего ее потрясло: значит, тогда уже он на всякий случай развязывал себе руки...

— А я ему всю жизнь отдала!..

Снег пушистым слоем все гуще покрывал ей голову, плечи и колени. Она сидела неподвижно, горько шевеля губами. Кляла судьбу, в которую не верила, винила бога, в которого полуверила. Не винила только себя, что всю жизнь отдала на выращивание эгоиста, приученного думать только о себе.

## Враги

Дмитрий Сучков был паренек горячий и наивный, но очень талантливый. Из деревни.

Работал токарем по металлу на заводе. Много читал. Попал в нелегальный социал-демократический кружок, но пробыл там всего месяц: призвали в солдаты.

Время было жаркое. Отгремело декабрьское восстание в Москве. По просторам страны пылали помещичьи усадьбы. Разливались демонстрации. Лютовали погромы и карательные экспедиции. С Дальнего Востока после войны возвращались озлобленные полки. Начинались выборы в Первую Государственную думу.

Дмитрий Сучков попросился в Ромодановский полк, где служил его старший брат Афанасий. Полк только еще должен был прийти с Дальнего Востока. Триста новобранцев под командою двух офицеров, посланных вперед, ждали полка в уездном городке под Москвой.

Три дня всего пробыл Сучков в части, и случилось вот что. Солдаты обедали. В супе оказалась обглоданная селедка, — хребет с головой и хвостом. Сучков взял селедку за хвост, пошел на кухню, показал кашевару:

— Это что у вас, для навару кладется?

Кашевар с изумлением оглядел его.

— Ты... этого... агитатор?..

Назавтра вышел дежурный капитан Тиунов, прямо направился к Сучкову. Капитан — сухощавый, с бледным, строгим лицом и тонкими бровями.

— Ты тут собираешься агитацией заниматься... — И спросил взводного: — Ему устав внутренней службы читан?

— Никак нет, еще не читан.

Капитан крикнул на Сучкова:

— Стой, как следует!

— Я не знаю стоять, как следует, я стою, как умею.

— Как его фамилия?

— Что вы взводного спрашиваете, я и сам скажу, врать не стану. Сучков фамилия.

— Это ты вчера на суп жаловался?

— Да.

Капитан топнул ногой и грозно крикнул:

— Как ты смеешь так отвечать начальству?! Спроси у взводного, как нужно отвечать?

— Господин Гаврилов, как ему нужно отвечать?

Капитан совсем вскипел:

— Не «господин Гаврилов», а «господин взводный» или по имени-отчеству, и не «ему», а «его высокоблагородию»!

— Господин взводный, как этому высокоблагородию нужно отвечать?

— «Так точно» нужно говорить, «никак нет», «слушаю-с».

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Капитан внимательно поглядел ему в лицо и отошел.

Вечером он пришел с фельдфебелем в казарму и сделал в вещах у Сучкова обыск. Однако Сучков ожидал этого и все подозрительное припрятал.

— Это что? Граф Салиас, «Пугачевцы». Ого! Какими ты книгами интересуешься!

— Вполне легальная книга!

— «Легальная»... Вот ты какие слова знаешь! Умеешь легальные книги отличать от нелегальных... А это что?

— Дневник мой.

Капитан Тиунов передал тетрадки фельдфебелю.

— Вы что же, читать его будете?

— Обязательно.

— А как это вам, господин капитан, не претит? Среди порядочных людей читать чужие письма не принято, а ведь дневники — те же письма.

Сучков за грубость был посажен на три дня под арест. Вскоре он заболел тяжелым приступом малярии и был отправлен в московский военный госпиталь. Там повел пропаганду среди больных солдат. По его почину они пропели «вечную память» казненному лейтенанту Шмидту. По приказу главного врача Сучков был выписан обратно в полк с отметкой о крайней его политической неблагонадежности.

Полк уж воротился с Дальнего Востока. Он стоял в губернском городе недалеко от Москвы. В полку было яро-черносотенное настроение. Начальство втолковывало солдатам, что в задержке демобилизации виноваты «забастовщики», что, по указке «жидов», они всячески препятствовали отправке войск с Дальнего Востока в Россию. Дмитрий Сучков пошел проведать брата Афанасия. Афанасий был ротным каптенармусом, имел в казарме

вместе с фельдфебелем отдельную комнатку.

Встретились братья, расцеловались. Конечно, чаек, водочка. Тут же фельдфебель — большой, плотный мужчина с угрюмым и красным лицом.

Дмитрий спросил:

— Ну, что у вас там было на войне, рассказывай.

— Что рассказывать! Ты газеты небось читал... Расскажи лучше, что у вас тут.

Дмитрий стал рассказывать про 9 января, как рабочие Петербурга с иконами и хоругвями пошли к царю заявить о своих нуждах, а он встретил их ружейными залпами и весь город залил русскою кровью; рассказывал о карательных экспедициях в деревнях, как расстреливают и запарывают насмерть крестьян, о баррикадных боях на Красной Пресне в Москве. Рассказывал ярко, со страстью.

Когда он на минутку вышел из комнаты, брат его Афанасий покрутил головою и сказал:

— Мне это очень не нравится, что он говорит.

Фельдфебель же неожиданно сказал:



— А мне очень нравится!

Этого фельдфебеля солдаты в роте сильно боялись. Был он строг и беспощаден, следил за солдатами, не одного упек, служил царю не за страх, а за совесть. Но последние месяцы стал что-то задумываться, сделался молчалив, много читал библию и евангелие, по ночам вздыхал и молился.

Воротился в комнату Дмитрий Сучков. Взялись опять за чаек да за водочку. Фельдфебель спросил:

— Ну-ка, а как ты домекаешься — в чем тут самый корень зла, откуда вся беда?

— В царе, ясное дело! Безусловный факт!

В дверях толпились солдаты, дивились, что рядовой солдат так смело говорит с их грозным фельдфебелем, да еще какие слова!

Фельдфебель сказал:

— А ты этого, парень, не знаешь, что против царя грех идти, что это бог запрещает?

— Что-о? За царя грех идти! Вот что в библии говорится!

— Ну что... Ну что глупости говоришь! Я библию хорошо знаю.

— Есть она у тебя?

— Вот она.

— Ну, гляди. Первая книга царств, глава двенадцатая, стих девятнадцатый. Я это место вот как знаю, взажмурки найду. Читай: «И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих перед господом богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя».

Фельдфебель молчал и внимательно перечитывал указанное место. Долго думал, наконец сказал:

— Теперь все понятно!

Облегченно вздохнул, перекрестился и закрыл книгу.

Долго еще беседовал фельдфебель с Дмитрием Сучковым. И стал с ним видеться каждый день. И ему не было стыдно учиться у мальчишки-рядового. Он говорил ему:

— Все у меня внутри было как будто запечатано, а ты пришел и распечатал, — вот как бутылку пива откупоривают.

Сам воздух в то время дышал возмущением и ненавистью. Агитация падала в солдатские массы, как искры в кучи сухой соломы.

Агитацию вели Дмитрий Сучков, фельдфебель и еще один солдат, рабочий-еврей из Одессы. Дмитрий Сучков рос в деле с каждым днем. Солдаты смотрели на него, как на вожака. И все большим уважением проникались и к фельдфебелю, которого раньше ненавидели.

Весною случилось вот что. В железнодорожных мастерских арестовали четырех рабочих. Мастерские заволновались, бросили работу, потребовали освобождения арестованных. К мастерским двинули три роты Ромодановского полка. Перед тем, как им выступить, перед солдатами в отсутствие офицеров пламенную речь сказал Сучков, научил, как держаться, а фельдфебель Скуратов добавил:

— Если кто из вас по офицерской команде стрельнет, я его на месте уложу пулей. Когда дойдет до дела, не слушать офицеров, слушай моей команды.

Пошли. По дороге солдат завернули на двор воинского присутствия. Выступил один из ротных командиров, тот капитан Тиунов, о котором уже говорилось. Бледное, строгое лицо с тонкими бровями. В упор глядя на сол-

дат, спросил:

— Скажите мне, братцы. Вы знаете, что такое присяга?

— Так точно.

— Может быть, не совсем хорошо знаете. Так я вам объясню. Не ваше дело рассуждать. Вы давали присягу царю и отечеству. Ты не отвечаешь за то, что твоя винтовка сделает, — за это отвечает начальство...

Увидел среди солдат Сучкова. Сучков часто замечал на себе и раньше пристальный, подозрительный взгляд капитана.

— Поди-ка сюда! А ты знаешь, что такое присяга?

— Так точно! Только всякий ее по-своему понимает.

Капитан понял, что он соглашается с ним, и обрадовался. И повел солдат к железнодорожному вокзалу.

Перед мастерскими чернела и волновалась тысячная толпа рабочих. Солдат выстроили спиной к вокзалу. Комендант кричал на рабочих, в ответ слышались крики:

— Выпустить арестованных!.. Все мастерские разнесем, поезда остановим!

Комендант крикнул:

— Теперь я с вами иначе заговорю!

И шатающимся шагом пошел к ротам. Стал сзади солдат и стал командовать.

— По толпе... залпом... роты...

И вдруг оборвал команду. Ряды стояли неподвижно, ни один солдат не взял ружья на изготовку. Комендант растерянно обратился к Тиуну:

— Капитан, почему ваши солдаты не берут на изготовку?

Тиунов, страшно бледный, молчал. Комендант вышел перед рядами и стал спрашивать отдельных солдат:

— Отчего ты не берешь на изготовку?

Солдаты стояли неподвижно, вытянувшись, и молчали, как окаменевшие. Скуратов, волнуясь, шепнул Сучкову:

— Ну, как кто поддастся!

Но никто не поддался. Комендант крикнул Тиуну:

— Тогда распоряжайтесь сами! И исчез.

Рабочие замерли на месте, услышав команду коменданта. Теперь они в бешеном восторге кинулись к солдатам.

— Ура, ромодановцы!

Окружили солдат, целовали, обнимали, со-  
вали в руки баранки, колбасу. Солдаты по-  
прежнему стояли неподвижно, соблюдая  
строй, — совсем истуканы!

От вокзала показался комендант, с ним че-  
ловек пятнадцать жандармов с винтовками.  
Рабочие к солдатам:

— Братцы, дайте нам винтовки, мы их  
встретим!

Фельдфебель Скуратов скосил глаза на сто-  
рону и быстро ответил:

— Небось! Пусть хоть раз стрельнут, — мы  
им сами покажем!

— Ура! — закричали рабочие.

Комендант опять стал уговаривать рабо-  
чих, но теперь он говорил очень мягко. Рабо-  
чие толпились вокруг и постепенно оттирала  
жандармов. Жандармы очутились поодиноч-  
ке в густой рабочей толпе. Ничего не добив-  
шись, комендант исчез.

Солдат повели к мастерским, выстроили  
перед воротами с приказом никого не выпус-  
кать. И опять молча и неподвижно, как ока-  
меневшие, солдаты стояли, держа строй, а

мимо них выбегали рабочие. Соединились в колонну и с пением марсельезы двинулись к городу, раньше прокричав ромодановцам «ура».

Командир полка, узнав о случившемся, пришел в бешенство, рвал на себе волосы.

— Батальон был самый боевой, а теперь как опоганился!

Командовавший отрядом капитан Тиунов все не являлся к полковому командиру с рапортом, так что пришлось послать за ним вестового. Вестовой побежал и, воротившись, смущенно доложил:

— Капитан Тиунов — застрелимшись.

Он выстрелил себе в грудь, пуля прошла навывлет, но не задела ни сердца, ни крупных сосудов. Его снесли в лазарет.

Роты, участвовавшие в описанном деле, ходили, как победители. Время было такое, что начальство боялось их покарать. Вскоре полк ушел в лагеря. Ходили на стрельбу за пять верст от лагеря. После поверки солдаты уходили в лес, в условленное место, на митинг. По дороге — свои патрули: спрашивали пароль. Выступали присланные ораторы. Го-

ворили о Государственной думе, о способах борьбы, о необходимости организации, о светлом будущем. Это был для солдат какой-то светлый праздник. Все ходили, как будто вновь родились. Постановили больше не ругаться матерными словами. Красное, угрюмое лицо фельдфебеля Скуратова теперь непрерывно светилось, как раньше у него бывало только в светлое воскресенье. Установились у него близкие, товарищеские отношения с солдатами. Однажды стирал он в прачечной свое белье. Увидел дежурный офицер.

— Вот молодец! Фельдфебель, а сам стирает! Каждый рядовой норовит теперь это на другого свалить, а он — сам. Молодец! Вот это хороший пример.

Фельдфебель молча продолжал стирать.

— Слышишь, я говорю тебе: «Молодец!»

Скуратов молчал. Офицер грозно крикнул:

— Ты что, скотина, не слышишь? Я тебе говорю: «Молодец!»

Нужно было ответить: «Рад стараться!» Но Скуратову противно было это сказать. И он неохотно ответил:

— Не молодец, а нужда. Нет денег прачку



нанять.

В начале августа, когда полк стоял еще в лагерях, случилось вот что. В праздник Преображения, 6 августа, два солдата гуляли за полковой канцелярией. И вдруг нашли в овраге большую кучу распечатанных писем и отрезков, денежных переводов, адресованных солдатам. Стали читать письма. В них солдатам писали из деревни, чтобы не стреляли в мужиков, чтобы стояли за Государственную думу. А по сверке денежных переводов оказалось, что адресаты денег этих не получили.

Заволновался полк. Сходились кучками, передавали друг другу о находке, ругались и грозно сжимали кулаки. К вечеру весь лагерь шумел, как развороченный улей. Офицеры попрятались. Солдаты искали Сучкова, чтобы он им «сказал». Но Сучков в тот день поехал в город за мясом, — его солдаты выбрали батальонным артельщиком. Кинулись к фельдфебелю Скуратову. Но он был только хорошим «младшим командиром», исполнителем, а теперь лишь недоуменно пожимал плечами. Да и правда, нелегко было направить общее

негодование в нужное русло. Стали слушать каждого, кто громко кричал. Решили идти к помещению первого батальона, где находился денежный ящик и полковое знамя, деньги поделить меж собой, и со знаменем, с музыкой, двинуться в город. Пошли вдоль палаток, выгоняя спрятавшихся солдат. Открыли карцер, выпустили восьмерых арестованных, — «Пускай нынче всем будет радость». Пришли. Вдруг перед ними появился командир полка. Упал перед солдатами на колени:

— Братцы! Товарищи! Господа! Что хотите со мной делайте, а знамени и денежного ящика не трогайте!

— Э, слушай его! Валяй, ребята! Часовой, отойди!

Но тут фельдфебель Скуратов начальственным крикнул:

— Смирно, товарищи! Полковой командир дело говорит. Не трогать знамени и денежного ящика. Дайте полковому командиру сказать, что хочет.

Полковой командир приободрился и сказал:

— Ребята! Вы заявите свои требования, я

их все добросовестно разберу, а дело сегодняшнее мы замнем.

Солдаты наперебой стали говорить о найденных в овраге письмах и денежных переводах, о незаконных работах для офицерского состава, которые заставляют делать солдат.

— Ребята, вы все сразу говорите и очень далеко стоите. Подойдите ближе!

— А, сукин сын, заметить хочет тех, кто говорит! К черту его!

Раздались пьяные голоса:

— Идем, офицерское собрание разнесем!

В это время — были уже сумерки — ворочился из города Сучков. Солдаты кинулись к нему. Он развел руками и покачал головой:

— Ай-ай-ай! Что же делать теперь?

Сказали ему, что часть солдат пошла громить офицерское собрание. Он побежал к ним, остановил. Повел всех в рощу за лагерем «вырабатывать требования». Поздно ночью солдаты мирно разошлись по палаткам. Сучков задумчиво шел со Скуратовым домой.

— Да... Как теперь эту кашу расхлебывать!

Около палаток к Сучкову в темноте подошел вестовой.

— Сучков, иди скорей, тебя к себе капитан Тиунов зовет. Велит, чтоб сейчас же пришел.

— Что я ему? Почему я должен к нему являться?

Однако пошел.

Капитан Тиунов, на днях только вышедший из госпиталя, исхудавший, сидел на табуретке перед баракком и курил.

— Это ты, Сучков? Здравствуй!

— Здравия желаю!

— Пойдем в барак.

Вошли.

— Садись.

— Я, ваше высокоблагородие, постою.

— Садись, говорят тебе.

Сучков сел. С минуту молчали. Наконец, Тиунов заговорил:

— Вот. Еще раз встретились с тобой. Теперь, может, уже в последний раз. — Помолчал. Потом нагнулся к Сучкову и шепотом спросил: — Что ты такое сделал, сукин сын?

— Что я такое сделал?

— Что сегодня было, это твоих рук дело.

— Меня тут даже не было, я в город ездил.

— Все равно, это все ты... Ты жид?

— Никак нет.

— Может, поляк?

— Никак нет.

— Ну, может, в роду у тебя поляки были?

— Этого знать не могу, — с усмешкой ответил Сучков. — Тогда не жил.

— Та-ак, та-ак... — задыхаясь, произнес Тиунов. Вдруг взял со стола замок, подошел, привесил к двери и запер на ключ.

Сучков подумал:

«Бить, что ли, будет? Ну, это еще посмотрим, кто кого! Как бы ему самому не было большого полому!»

Тиунов из-под шитой подушки на диване достал револьвер и нацелился на Сучкова.

— Сознавайся!

Указательный его палец лежал на спуске, в дырах барабана видны были пули. Заряженный. У Сучкова же шинель была внакидку, застегнута у шеи на два крючка, руки спутаны: пока станешь отстегивать крючки, — застрелит.

— Да в чем сознаваться?

— Ты им брошюры давал, прокламации писал... Сознавайся! Убью тебя, как пса. Что

ты им давал?

— Что давал! Газету сейчас дать, — почище будет всякой прокламации! Правда теперь пошла в газетах, тоже вот в них отчеты Государственной думы печатаются...

Тиунов схватился за голову.

— Эх, вот эта Дума еще!.. Нет, ты им все-таки еще прокламации давал... Ну, слушай! Ведь вот твоя смерть здесь, в дуле... Сознавайся!

— Да ну, стреляйте! Что там разговаривать! Жизнь мне не дорога, а смерть не опасна!

Тиунов вдруг положил револьвер, снял с двери замок и опять сел рядом с Сучковым.

— Ну, смотри, видишь? Я револьвер положил, дверь отпер. Но все-таки знай: если ты меня не убьешь — я тебя убью!

Замолчали.

— Давал ли им прокламации, нет ли, — а все это дело — твое. Ну-с, что же, доволен? Денежки из казенного ящика поделить, офицерский буфет разграбить... Чего же вы этим достигнете? Ты хочешь анархии.

— Я не хочу анархии.

Капитан удивился.

— Не хочешь?

— Не хочу. У вас анархией называется свобода, вы сами рабы и хотите, чтоб все рабами были. Нам друг друга не понять. У вас одна душа, у нас другая.

— Свобода... Свобода? Ты хочешь свободы, а вызовешь анархию, проклятый ты человек! Ты ее вызовешь, в ней и я погибну, и сам ты, и Россия!.. Радуешься ты на то, что сегодня было?

— Нет, не радуюсь.

— Ну, и никакой тебе никогда радости не будет. Может, когда-нибудь, как увидишь, что вы с Россией сделали, сам ужаснешься!

— Как говорится, — бог не выдаст, свинья не съест.

Тиунов встал.

— Ну, теперь прощай! — Он протянул Сучкову руку и с ненавистью пожал ее. — Прощай. А мы — мы будем драться с вами до последнего!

Сучков с вызовом поглядел на него.

— Не испугаемся: кто кого!

Тиунов скрипнул зубами и бросился к сто-

лу за револьвером. Остановился, повернулся.  
— Уходи скорей, говорю тебе!  
— Здравия желаю!  
Сучков откозырнул и вышел из барака.

\*\*\*

Весною 1901 года молодой Художественный театр в первый раз приехал в Петербург показать себя. Слава предшествовала ему. И он сразу завоевал петербуржцев.

Первый спектакль, который я видел, был «Доктор Штокман» с Станиславским в заглавной роли. Это была одна из тех радостей, за которые на все дни остаешься благодарен жизни. И до сих пор я никак не могу соединить в своем представлении образ Станиславского с созданным им образом доктора Штокмана. Станиславский — гигант, с медленными движениями, с медлительной речью. А на сцене был маленький (да, да, маленький, я это ясно видел!), суетливый, сторбленный старичок с быстрой походкой, со странной манерой держать опущенною вниз правую руку с вытянутыми двумя пальцами. Это был человек, существовавший совершенно отдельно



от Станиславского. Юродивая улыбка про себя, очки на очень близоруких глазах, — о, он ничего не видит кругом, видит только решающую перед его глазами правду! Умница и в то же время ребенок, наивный чудак, постоянно вызывающий улыбку. На народном собрании он говорит боевую свою речь, — и вдруг такая вставка:

— В домах, где не подметают ежедневно полов, — Катерина, моя жена, уверяет даже, что их нужно ежедневно мыть, но это уже вещь спорная, — в таких домах люди в два-три года теряют способность нравственно мыслить и действовать!

Доктор Штокман сделал открытие, что минеральные воды, которые составляют богатство города, загрязнены бактериями и что все предприятие нуждается в коренной перестройке. Но это грозит совершенно подорвать интересы акционеров и всего города вообще. Доктор Штокман собирается опубликовать свое открытие. Этим решением он объявляет прямую войну «сплоченному большинству» городских собственников и акционеров. Жена его в ужасе, она указывает ему на мальчи-

КОВ-СЫНОВЕЙ:

— Что будет с ними? Что ты хочешь сделать?

И он коротко, решительно отрубает:

— Я хочу сохранить за собой право смотреть моим мальчикам прямо в глаза!..

Время в Петербурге было горячее. 4 марта 1901 года произошла знаменитая демонстрация на площади Казанского собора. Когда демонстрирующие студенты собрались, то спрятанная в соседних домах конная полиция выскочила на площадь, окружила толпу и стала топтать ее лошадьми и избивать нагайками. Отвратительная бойня эта вызвала всеобщее возмущение. Воздух был насыщен революционным электричеством, все кипело и бурлило. Даже газета «Новое время», выступившая, как всегда, на защиту властей и наговорившая кучу гнусностей по адресу избитых во время демонстрации, — даже «Новое время», в первый, кажется, раз за все многолетнее свое существование, почувствовало силу общественного осуждения и несколько растерялось.

Ничего, казалось бы, злободневного нель-

зя было найти в «Докторе Штокмане». Однако то и дело в пьесе неожиданно выплывали словечки и положения, как будто прямо намекавшие на современность. И публика бешеными рукоплесканиями и смехом подчеркивала эти места. Спектакль превратился в сплошную демонстрацию.

В пятом действии доктор Штокман, помятый «сплоченным большинством» за его речь на народном собрании, сокрушенно рассматривает дыру на своих новых брюках и сентенциозно замечает:

— Когда идешь защищать дело справедливости и свободы, никогда не следует надевать нового платья!

Хохот и рукоплескания: яркий намек на полицейские нагайки, от которых пострадало далеко не одно только платье бывших на Казанской площади.

В том же пятом действии к доктору Штокману являются редактор местной газеты Гауштадт и издатель ее Аслаксен — продажные души, всегда готовые держать нос по ветру. Они предлагают доктору Штокману вступить с ними в гнуснейшую сделку. Он в негодова-

нии бросается на них с зонтиком и выгоняет вон.

Рукоплескания, смех и неожиданные крики:

— Суворин! Суворин!

Суворин, издатель «Нового времени», был в театре, и публика это знала. Сначала он не понял, удивленно в своей ложе поднял голову, — и вдруг страшно побледнел. Публика продолжала иронически рукоплескать и кричать:

— Суворин! Суворин!

Он поспешил исчезнуть из театра.

## **Московский Литературно-художественный кружок**

С начала девятисотых годов до Октябрьской революции в Москве существовал Литературно-художественный кружок — клуб, объединявший в себе все сливки литературно-художественной Москвы. Членами клуба были Станиславский, Ермолова, Шаляпин, Собинов, Южин, Ленский, Серов, Коровин, Васнецов, все выдающиеся писатели и ученые, журналисты и политические деятели (пре-

имущественно кадетского направления). Это были действительные члены. Кроме того, были члены-соревнователи, — без литературно-художественного стажа: банкиры, фабриканты, адвокаты и почему-то очень много зубных врачей. Эти члены права голоса на общих собраниях не имели. В чем они могли в Кружке «соревноваться» — неизвестно. А чем они были полезны Кружку, будет видно из последующего.

Ежегодный членский взнос действительных членов был — 15 рублей, членов-соревнователей — 25. Формально говоря, эти членские взносы были единственным доходом Кружка; в год это составляло не больше десяти тысяч рублей. Между тем Кружок занимал огромное роскошное помещение на Большой Дмитровке в доме Востряковых, № 15 (где впоследствии помещался Московский Комитет ВКП(б), а теперь — Верховная прокуратура СССР). За одно это помещение Кружок платил сорок тысяч в год, ежегодно ассигновывал по 5–6 тысяч на пополнение библиотеки и столько же — на приобретение художественных произведений, оказывал материальную по-

мощь нуждающимся писателям и художникам. Библиотека была великолепная, стены Кружка были увешаны картинами первоклассных художников; особенно много было портретов: знаменитый серовский портрет Ермоловой, Лев Толстой — Репина, Южин и Ленский — Серова, Шаляпин — Головина, Чехов — Ульянова, Брюсов — Малютина и др. Думаю, не ошибусь, если скажу, что действительный ежегодный бюджет Кружка был 150–200 тысяч рублей. Откуда же получались эти деньги?

В верхнем этаже был большой, с невысоким потолком зал, уставленный круглыми столами с зеленым сукном. Настоящею жизнью этот зал начинал жить с одиннадцати-двенадцати часов ночи. Тут играли в «железку». Были столы «золотые», где наименьшею ставкою был золотой. Выигрывались и проигрывались тысячи и десятки тысяч. Втягивались в игру и развращались все новые и новые люди. Ходит вокруг столов какой-нибудь почтенный профессор или молодой писатель, с иронической усмешкою наблюдает играющих; балуясь, «примажется» к чьей-ни-

будь ставке, поставит золотой десятирублевик, выиграет (к начинающим судьба обыкновенно бывает очень милостивой), возвращается к ужинающим в столовой приятелям и говорит, посмеиваясь:

— Вот, заработал себе на ужин!

Глядишь, — через год-другой он уже не выходит из верхнего зала, уже не примазывается, а занимает место за столом и играет все ночи напролет. Вот тут-то и «соревновались» члены-соревнователи, вот для этой-то цели они и выбирались.

Приходилось тут наблюдать очень странные типы. Аккуратно после театра являлся сюда артист Малого театра К. Н. Рыбаков — великолепный актер, сын знаменитого Н. Х. Рыбакова. Высокий, плотный, очень молчаливый. Пристраивался около стола, где шла самая крупная игра, и — смотрел. В игре никогда не участвовал. Но смотрел очень внимательно, не отрываясь. Сюда же спрашивал себе ужинать и ел за приставленным маленьким столиком, продолжая следить за игрой. Молчит. По тонким бритым губам пробегает чуть заметная усмешка. Просиживал аккурат-

но до шести часов утра, — крайний срок, до которого разрешалась игра, — и уходил последним. И — никогда не играл. Меня очень он интересовал. В чем дело? Знающие люди мне объяснили. Так бывает с ярыми игроками, бросившими играть. Когда-то Рыбаков жестоко проигрался, дал себе слово не играть. И вот мысленно переживал все перипетии чужой игры, находя в этом своеобразное наслаждение.

Много видов видал этот верхний зал Кружка, о многих острых событиях могли бы рассказать его стены. Вот одно из таких событий, о котором долго говорили в Кружке.

Поздняя ночь. В накуренном верхнем зале ярко горит электричество. Вокруг одного из «золотых» столов — густое кольцо зрителей. Все взволнованно следят за игрой. Мечет банк знаменитый артист Малого театра князь А. И. Сумбатов-Южин. Лицо его спокойно и бесстрастно. Вокруг стола в волнении расхаживает уже мною упомянутый артист К. Н. Рыбаков (он тогда еще играл). Поглядывает на стол, хватается за голову и говорит про себя:

— Нет, он положительно — сумасшедший!



Он — с-у-м-а-с-ш-е-д-ш-и-й!

Рыбаков половиною долею вошел в банк, заложенный Южиным. Девять раз Южин выиграл, в банке двадцать пять тысяч. Но Южин продолжает метать.

— Даю карту!

Выигрывает в десятый раз. В банке пятьдесят тысяч. Рыбаков требует кончить. Но Южин как будто не слышит и опять:

— Даю карту!

Проигрыш почти уже верный. Присутствующие ставят последние деньги в расчете на выигрыш, глаза горят, лица бледны, руки дрожат. Только руки Южина спокойны, и лицо по-прежнему бесстрастно.

Выигрыш — в одиннадцатый раз! В банке сто тысяч. И опять спокойный голос:

— Даю карту!

Общее молчание. И денег таких ни у кого уже нет, да если бы и были, так не пойдут, — всех охватил тот мистический ужас перед удачей, который знаком только игрокам.

Южин повторяет:

— Даю карту!

По губам его пробегает заметная озорная

улыбка. Рыбаков оживает: желающих нет. Вдруг тихий старческий голос:

— Позвольте карточку! По банку!

Табачный фабрикант-миллионер Бостанжогло. Золотым пером пишет чек на сто тысяч рублей и кладет на стол.

Южин мечет. Открывают карты. У Южина пять очков, у Бостанжогло — победоносная девятка. Банк сорван.

Рыбаков схватился за голову и тяжело упал в кресло. А князь Сумбатов-Южин барственным жестом провел рукою по лбу и спокойно-небрежным голосом сказал:

— Ну, а теперь пойдем пить красное вино!

Этот-то верхний зал и служил главным источником дохода Кружка. Официально игра должна была кончаться в двенадцать часов ночи. За каждые лишние полчаса играющий платил штраф, увеличивавшийся в очень значительной прогрессии. Окончательно игра прекращалась в шесть часов утра. Досидевший до этого часа платил штрафу тридцать два рубля. Вполне понятно: человеку, выигравшему за ночь сотни и тысячи, ничего не стоило заплатить эти тридцать два рубля; че-

ловек, проигравший сотни и тысячи, легко шел на штраф в надежде отыграться.

Отсюда и шли в кассу Кружка основные его доходы. Так было везде, на такие доходы жили все сколько-нибудь крупные клубы. Часто против такого положения дел в Кружке раздавались протестующие голоса, говорили, что стыдно клуб сливок московской интеллигенции превращать в игорный притон и жить доходами с него. На это с улыбкой возражали: в таком случае нужно будет либо членские взносы повысить в двадцать-тридцать раз, либо нанять квартиру по сто рублей в месяц, обходиться двумя-тремя служащими, держать буфет только с водкой, пивом и бутербродами, выписывать в читальню пять-шесть газет и журналов. В такой клуб никто не пойдет.

И вот: анфилада больших залов с блестящим паркетом, уютной мягкой мебелью и дорогими картинами по стенам, многочисленные вежливые официанты в зеленых фраках с золотыми пуговицами, огромный тихий читальный зал с мягкими креслами и турецкими диванами, с электрическими лампами под

зелеными абажурами, держащими в тени потолок; на столах — всевозможные русские и заграничные газеты и журналы; чудесная библиотека с редчайшими дорогими изданиями. Прекрасный буфет, недорогой и изысканный стол, тончайшие вина. Очень удобно было наблюдать до того мне совсем не знакомую жизнь старорежимного клуба и широкие круги сливок московской интеллигенции.

В помещении Кружка заседали многочисленные литературные и художественные общества: Общество деятелей периодической печати и литературы, литературный кружок «Среда», Общество свободной эстетики и др. Устраивались банкеты и юбилейные торжества. В большом зрительном зале по пятницам происходили исполнительные собрания — выступали лучшие артисты и певцы, члены Кружка и приезжие знаменитости. По вторникам читались доклады на литературные, художественные, философские и политические темы. Диспуты часто принимали очень интересный и острый характер.

Ярко стоит в памяти один из таких диспутов. Приехавший из Петербурга модернист Д.

В. Философов читал доклад о книге Льва Шестова «Апофеоз беспочвенности». Зашел ко мне Ив. Ив. Скворцов-Степанов — большевик, будущий редактор «Известий». Я ему предложил пойти на доклад. Он в Кружке никогда еще не бывал. Заинтересовался. Пошли вместе.

На эстраде за столом, покрытым зеленым сукном, — докладчик, приехавшие с ним из Петербурга Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, Андрей Белый. Председательствовал поэт-модернист С. А. Соколов-Кречетов. Докладчик по поводу книги Шестова говорил о нашей всеобщей беспочвенности, о глубоком моральном падении современной литературы, о мрачных общественных перспективах. Потом начались прения. Выступил Андрей Белый с длинной истерической речью. Он протягивал руки к публике и взволнованно говорил об ужасающей всеобщей беспочвенности и беспринципности, о безнадежности будущего, о неслыханном моральном разложении литературы. Писатели занимаются тем, что травят собаками кошек. (В это время петербургские газеты шумели по поводу забавы,

которую выдумали себе один небезызвестный беллетрист и два журналиста: они призывали к ножке рояля кошку и затравливали ее фокстерьерами.)

— Литература сплошь продалась! — восклицал Белый. — Осталась небольшая группа писателей, которая еще честно держит свое знамя. Но мы изнемогаем в непосильной борьбе, наши силы слабеют, нас захлестывает волна всеобщей продажности... Помогите нам, поддержите нас!..

Андрей Белый был замечательный оратор. Речь его своею страстностью чисто гипнотически действовала на слушателей, заражала своею интимностью и неожиданностью. Публика горячо аплодировала.

Иван Иванович слушал, пожимал плечами и давился от смеха.

— Нет, не могу вытерпеть! Разрешается у вас выступать посторонним?

— Конечно.

Вышел — огромный, громовоголосый. Вначале слегка задыхался от волнения, но вскоре овладел собою, говорил едко и насмешливо. Недоумевал, почему так безнадежно смотрят

выступавшие ораторы на будущее, говорил о могучих «общественных силах», временно побежденных, но неудержимо вновь поднимающихся и растущих. Потом о литературе.

— Господин Андрей Белый в пример развращенности нашей литературы приводит бездарного писателя, получившего известность за откровенную порнографию, да двух газетных репортеров, занимавшихся совместной травлею кошек. И это — наша литература? Они — литература, а Лев Толстой, живущий и творящий в Ясной Поляне, он — не литература? (Гром рукоплесканий.) Жив и работает Короленко, — это не литература? Максим Горький живет «вне пределов досягаемости», — как вы думаете, неужели потому, что он продался? Или и он, по-вашему, не литература? Господин Андрей Белый докладывает вам, что осталась в литературе только ихняя кучка, что она еще не продалась, но ужасно боится, что ее кто-нибудь купит. И умоляет публику поддержать ее. Мне припоминается старое изречение: «Добродетель, которую нужно стеречь, не стоит того, чтобы ее стеречь!» Так и с вами: боитесь соблазниться, бо-

итесь не устоять, — и не надо! Продавайтесь! Не заплачем! Но русскую литературу оставьте в покое: она тут ни при чем!

Как будто в душную залу, полную тонко-ядовитых, расслабляющих испарений, ворвался бурный сквозняк и вольно носился над головами притихшей публики. Когда Скворцов кончил, загремели рукоплескания, какие редко слышал этот зал.

Вскочил Мережковский с бледным от злобы лицом. С вызовом глядя черными гвоздиками колючих глаз, он заявил, что публика совершенно лишена собственных мыслей, что она с одинаковым энтузиазмом рукоплещет совершенно противоположным мнениям, что всем ее одобрениям и неодобрениям цена грош.

— И я вам докажу это. Вот я вас ругаю, — а заранее предсказываю с полной уверенностью: вы и мне будете рукоплескать!

И правда, — зарукоплескали. Но рядом раздались свистки, шиканье. Многие из слушателей порывались на эстраду, но председательствовавший Соколов-Кречетов не давал им слова. Все-таки одна курсистка взбежала на



эстраду и взволнованно заявила:

— Я должна объяснить господину Мережковскому то, что он должен бы понимать и сам: «Публика» — это не организм с одним мозгом и двумя руками. Одни рукоплещут Скворцову, другие — ему.

Пришлось закрыть собрание. Иван Иванович смеялся и потирал руки.

— Очень интересный провел вечерок! Никогда ничего такого не видал. Спасибо вам!

## Букеты

В учительской комнате женской гимназии сидело несколько учителей. Старый учитель математики сказал:

— Андрей Владиславович меня зовут. Никогда не встречал другого человека с таким именем-отчеством.

Недавно переведшаяся в школу учительница истории, тоже сильно пожилая, возразила:

— Ну, это не удивительно. Отчество ваше — у нас, русских, довольно редкое. Но вот странность: и имя, и отчество у меня самые обыкновенные, — Наталья Александровна, —

а я тоже до сих пор никого не знала с таким именем-отчеством.

Старый математик мечтательно сказал:

— Нет, я знал одну Наталью Александровну. Это была моя первая любовь. Наташа Козаченко.

Учительница с удивлением сказала:

— Простите, я вас никогда не встречала, а моя девическая фамилия — Козаченко.

Математик пренебрежительно оглядел ее.

— Нет, это были не вы. Может быть, родственница ваша. Гимназистка, чудесная девушка с русой косой и синими глазами.

— Это в Киеве было?

— Да.

— Она жила на Трехсвятительской улице?

— Да, да!

— Так это была я.

Он пристально смотрел на нее, и, как сквозь сильно запотевшее стекло, сквозь темное морщинистое лицо с потухающими глазами проступило лицо прежней синеглазой Наташи Козаченко.

— Да, да... Ведь верно... Это, значит, вы и есть!..

— Но все-таки... Я вас не знала.

— Ну, фамилию-то должны знать. Я вам каждый день присылал по букету роз, у меня в саду чудесные розы росли. Самые срезал лучшие.

— Букеты мне приносил гимназист Владимир Кончер.

— Ну, да! От меня.

— Он этого не говорил.

— Как?! — старик ударил себя по лбу. — От своего лица, значит?

— Да.

— Вот подлец!

## **Супруги** **(пунктирный портрет)**

М у ж

— Писатель?! Очень, очень рад! Благословляю грозу, загнавшую вас под мой убогий кров! Люблю писателей, ученых! Я сам кавалерист!

— «Зе воркс оф Шакеспеаре»[2]... Шекспир! Гулять идете и то книжку с собой берете, да

еще на английском языке! По-английски могут понимать только очень умные люди... Но вот что: барометр еще с утра сильно упал. Как же вы, несмотря на это, пошли в такую далекую прогулку?

— У меня нет барометра.

— Нет барометра?.. Гм! Английский язык знаете, а барометра нету?

— Пианино — не так чтобы из Художественного театра, но все-таки ничего, играть можно.

— (О Шаляпине.) Прилично поет.

Ж е н а

— С ними из Минеральных вод ехал в вагоне один... Как его? Персидский, кажется, консул... Вообще, из Турции.

— Никогда не следует спрашивать женщину о годах. Важно, какую она сама себя чувствует. Если чувствует себя тридцатилетней, то и может сказать, что ей тридцать лет.

— Ну, да, это еще один король французский сказал: «Лета — с'э муа»[3].

— Странанья необходимы человеку. Они воспитывают его, облагораживают его душу.

— Да, да! И французы то же самое говорят: pour être belle, il faut souffrir[4].

— Мы с мужем объяснились в любви, совсем как Кити и Левин в «Анне Карениной». Только те много разных букв писали, пока столковались, а мы сразу друг друга поняли. Он всего три буквы написал: «я В.л.». А я ему в ответ четыре: «и я В.л.».

— Никогда я не могла понять, как это люди верят во всякие предрассудки. Ну, я понимаю: тринадцать человек за столом, три свечи, заяц перебежал дорогу... А всякие там предрассудки... Не понимаю.

\*\*\*

Дачный поселок Коктебель лет тридцать назад состоял всего из двадцати пяти, тридца-

ти дач. Там имели дачи поэт Волошин, артистка московского Большого театра Дейша-Сионицкая, поэтесса Соловьева-Аллегро, детская писательница Манасеина, артист петербургского Мариинского театра, бас Касторский, искусствовед Новицкий, известный публицист, бывший священник Григорий Петров и другие.

Среди дачников представительницею порядка, благовоспитанности и строжайшей нравственности была М. А. Дейша-Сионицкая. Представителем озорства, попирания всех законов божеских и человеческих, упоенного «эпатирования буржуа» (ошарашивания мещанина) был Максимилиан Александрович Волошин, или, как его все называли, Макс Волошин. Он был грузный мужчина с огромной головой, покрытой буйными кудрями, которые придерживались ремешком или венком из полыни; ходил в длинном древнегреческом хитоне, с голыми икрами и с сандалиями на ногах. Вокруг него группировалась талантливая местная и приезжая молодежь. Самы они называли себя «обормотами» и яростно враждовали с благонаправленною частью населе-

ния, возглавлявшеюся Дейша-Сионицкой.

Энергией и хлопотами Дейша-Сионицкой в Коктебеле было основано общество благоустройства поселка. До этого времени мужчины и женщины купались в море, где кто хотел, и это, конечно, было для многих женщин очень стеснительно. Теперь пляж был поделен на отдельные участки и на границах их поставлены столбы с надписями: «для мужчин», «для женщин». Один из таких столбов пришелся как раз против дачи Волошина. Волошин выкопал столб, распилил на дрова и сжег. Дейша-Сионицкая, как председательница общества благоустройства, написала на Волошина жалобу феоdosийскому исправнику Михаилу Ивановичу Солодилову.

Исправник прислал на имя «Макса Волошина» грозный запрос, на каком основании он позволил себе такое неприличное действие, как уничтожение столба на пляже. Волошин ответил: во-первых, его зовут не Макс, а Максимилиан Александрович. Правда, друзья называют его «Макс», но с исправником Солодиловым он никогда брудершафта не пил. Во-вторых, он, Волошин, считает непри-

личным не свой поступок, а водружение перед его дачею столба с надписями, которые люди привыкли видеть в совершенно определенных местах.

Суд присудил Волошина к штрафу в несколько рублей.

Волошин обладал изумительною способностью сходиться с людьми самых различных взглядов и общественных положений. Он был в дружеских отношениях с тогдашним таврическим губернатором Татищевым. Однажды, вскоре после вышеописанного происшествия со столбом, жена губернатора, проездом из Феодосии в Судак, заехала к Волошину и обедала у него. Исправник же Солодилов, как тогда полагалось, дежурил у ворот дачи при губернаторской коляске. Губернаторша вышла, радушно простилась с Волошиным и уехала. Солодилов подошел к Волошину, дружески взял его под руку, отвел в сторону и сказал:

— Максимилиан Александрович! Вам тогда не понравилось, что я назвал вас Максом. В таком случае, пожалуйста, называйте меня — Мишей.



## П. Ф. Лесгафт

Было это в 1909 году, — помнится, в декабре. В гробу лежал сухенький старичок с седою бородою, с очень высоким и крутым лбом. Гроб стоял в мрачной лютеранской часовне. Стрельчатые дуги арок, стрельчатые узкие окна. Сумрак вокруг. А в раскрытые двери знойно сверкала под солнцем песчаная пустыня, в далекой утренней дымке узорчато чернели финиковые пальмы, и караван верблюдов, звеня бубенцами, тянулся к городу.

Над гробом стоял черноусый немецкий пастор с наружностью доцента фармакогнозии и произносил надгробную проповедь. Он говорил:

— Возлюбленный брат! Ты, наконец, достиг того успокоения и отдыха, которого тщетно ждал всю свою жизнь! Покинутые тобою, мы горько скорбим о себе, — но за тебя мы должны только радоваться: пришел срок, — ты сложил с усталых плеч бремя жизни и идешь успокоиться навеки на родительском лоне господя нашего бога!

И еще больше, чем готическая часовня на

фоне африканской пустыни, резали душу эти слова пастора, обращенные к тому, кто лежал в гробу. Мне казалось: старичок сейчас быстро поднимется, выскочит из гроба, стремительной своей походкой налетит на пастора и отчитает его так, как только он умел отчитывать. Докажет ему ясно, что никакого он никогда в жизни не искал покоя, что жизнь жива и прекрасна энергичною работою, что жизнь — не бремя, а крылья, творчество и радость, а если кто превращает ее в бремя, то в этом он сам виноват! И наклонялся бы к лицу опешившего пастора и спрашивал бы:

— Ясно?.. Ясно?.. Ну что? Ясно теперь?..

И пастор смущенно пятился бы от старичка, как пятился от него я двадцать пять лет назад. Да, верно: назад ровно двадцать пять лет, в декабре 1884 года. Я тогда был юным студентом-филологом Петербургского университета. Случайно я забрел на лекцию анатомии, которую этот самый чудесный старичок читал юристам (для судебной медицины). Читал совсем по-особенному: он волчком носился по аудитории с разрезом височной кости, совал ее под глаза каждому студенту и ста-

рался растолковать взаимное расположение полукружных каналов. Стремительно налетел и на меня, и указывал пинцетом ход каналов, и спрашивал:

— Ясно? Ясно теперь?.. Ну что? Ясно?..

А я краснел и старался ретироваться. И вот теперь, через двадцать пять лет, в Гелуане, под Каиром, я стоял на панихиде по этом самом старичке: месяц назад врачи для чего-то послали его из Петербурга умирать в далекий Египет. Профессор Петр Францевич Лесгафт.

Лесгафт!.. Кто знал его, тот поймет: Лесгафт — и искание покоя! Лесгафт — и бремя жизни! Да, отчитал бы он этого пастора с его «бременем жизни»!

\*\*\*

Рудометов. Сибиряк. Высокого роста, крепкий, с большой головой. Напоминал Петра Первого. Был сектантом и очень был фанатичен: не только не ел убоины, но даже не убивал паразитов. Летом работал грузчиком, зарабатывал хорошо, зимою читал и учился. Потом поступил в почтальоны.

Однажды другой почтальон принес воин-

скому начальнику заказное письмо и не снял перед ним шапки. Военский начальник его избил. Плачущий, окровавленный почтальон рассказал об этом Рудометову. Три дня Рудометов ходил мрачный, задумчивый, по ночам сидел на кровати и угрюмо думал. А на четвертый день попросил избитого товарища передать ему не в очередь доставку почты военскому начальнику. Доставил и не снял шапки. Военский начальник его в зубы.

Тогда Рудометов сказал:

— Отец помирал, не велел мне никогда долга на себе держать!

Развернулся и ударил начальника так, что тот отлетел в угол. И зверски потом избил. Судили. Несколько лет отсидел в тюрьме. Сектанты, его единоверцы, отнесли к нему с решительным осуждением. Тогда он ушел от них.

Был мобилизован на войну. Во время керенщины, на австрийском фронте, сказал пламенную речь против войны до победного конца. Оказался прекрасным оратором, имел огромный успех, солдаты носили его на руках. Говорил от нутра, ни к какой революции

онной партии не принадлежал. Раз в Одессе, когда выступил против кадетов с требованием прекращения войны и отдачи всей земли крестьянам без выкупа, ему закричали:

— Большевик!

Тут он понял, к какой принадлежит партии, и вскоре стал большевиком.

Теперь он ответственный работник. Но прежний сектантский аскетизм крепко сидит в нем. Живет с женою и семьею брата в одной комнате, никогда не пользуется машиной, ходит всегда пешком.

\*\*\*

По новому шоссе, близ Тимирязевской сельскохозяйственной академии, неслась под гору легковая машина. Шофер с испуганным лицом давал непрерывные гудки и старался затормозить машину. Внизу, посреди неширокого моста, озорной мальчишка лет девяти, балуясь, удерживал на месте пятилетнего братишку и не давал ему убежать. Всем было ясно со стороны, что мальчишка с братом не успеют увернуться. Мать с воплем бежала к мосту.

Гибель ребят была неминуема. Вдруг в последний момент шофер повернул руль, — и машина вместе с шофером рухнула в овраг.

Сбежался народ. Окровавленный шофер без чувств лежал в поломанной машине. Вызвали скорую помощь. Люди в белых халатах вынесли раненого в носилках из оврага. У него были перебиты обе ноги. Затуманенные глаза раскрылись. Морщась и крепко закусив губы, чтобы не стонать, он смотрел на облака.

Белая карета с красным крестом уехала. Народ взволнованно обсуждал случившееся. Гражданин в кепке, с треугольником рыжеватых волос на верхней губе, громко говорил:

— Ничего бы ему не было, если бы раздавил ребят. Дело вполне ясное. Я сам шофер, знаю порядки. Вон сколько свидетелей кругом, все видели. Ничего бы не было! А он — и сам погиб, и машину поломал. Наверно, не знал законов.

\*\*\*

Зимой 1906-07 года, в Москве. В актовом зале университета происходило заседание Общества любителей российской словесности.

Читали И. А. Бунин, я и еще поэты, не помню, какие.

Я читал свой рассказ из русско-японской войны «В мышеловке». В нем описывалась жизнь передового нашего люнета, тщеслави-ем корпусного командира выдвинутого без всякой надобности далеко вперед к враже-ским позициям. Солдаты этот люнет прозва-ли «Мышеловкой».

Читал я в это время очень плохо, голос у меня не был поставлен, я не умел его прино-равливать к акустическим условиям помеще-ния, дикция была плохая. А акустика актовом-го зала была очень неважная.

Начал я читать. Как я потом узнал, ничего в моем чтении нельзя было разобрать, слыш-но было только:

— Бу-бу-бу-бу...

Когда я поднимал глаза, я видел мучитель-но вслушивающиеся лица, ладони, пристав-ленные к ушам. Потеряв надежду что-нибудь услышать, слушатели стали потихоньку раз-говаривать.

Ночью происходит смена охранения люне-та. Все идут, затаив дыхание. Когда спуска-

лись в окоп, один солдат зацепил прикладом за котелок. Ротный грозно зашипел:

— *Тише вы, черти!*

Эти слова раздельно пронеслись по всему залу. Разговаривавшие испуганно взглянули на меня и сконфуженно замолчали.

И опять потекло ровное, томительное: «бу-бу-бу», гулко отражаемое гладкими стенами зала. Минут двадцать тянулось чтение. Слушатели окончательно потеряли терпение. Потихонечку, один за другим, стали они подниматься и на цыпочках, балансируя руками, выходили из зала.

В люнете командир роты убит японской пулей. Солдаты взволнованно затеснились к трупу, напирали друг на друга и вытягивали головы. Младший офицер, к которому перешло командование, властным голосом крикнул:

— *Куда поперли? По местам!*

Выходившие так и замерли.

## **Мимоходом**

Было это последним летом в Крыму.

Секретарь местного сельсовета — молодой



партиец — и приезжая журналистка разговорились. Вот ведь какая нелепость: в дачный поселок съезжается летом самая отборная интеллигенция; отдыхают, жарятся под солнцем на пляже, купаются, гуляют, флиртуют; а тут же рядом — темная деревня, безграмотная, дикая, живущая только хулиганством, пьянкой и абортами. Как бы было хорошо учредить общество шефства дачного поселка над деревней. Пусть бы профессора читали крестьянам доступные лекции по своей специальности, в клубе выступали бы певцы, музыканты, артисты, писатели.

Секретарь сельсовета добавил:

— А для начала — хоть бы библиотеку нашу привели в порядок. Книг много, тысячи полторы, но все кучами навалено в шкапах, каталога нету, всякий берет из шкапов, что хочет, и не возвращает. Расхода на избача нам не утвердили, но пусть бы только привели библиотеку в порядок; я уж сам, если никто не пожелает, буду выдавать книги два раза в неделю. — И прибавил с улыбкой: — Работы так много, что и не заметишь, больше ли ее на два лишних часа в неделю.

И журналистка сказала:

— Да, конечно! Здесь отдыхает масса молодежи, вузовцев; найдутся и библиотекари. Всякий с охотой пойдет, поработает часа два-три в день. С миру по нитке, а глядишь, — к осени библиотека будет приведена в порядок.

Стали они вдвоем обходить дачников и предлагать основать общество. Первым делом пришли к известному одному профессору, автору книги «Кант и диалектика». Он со смеющимися глазами выслушал их.

— Сомневаюсь, чтоб многие откликнулись на ваш призыв. Публика инертна, приехала сюда отдыхать... Впрочем, все дело в активном ядре. Удастся вам подобрать человека три-четыре энергичных, — ну, что-нибудь сделаете. Что меня касается, то, конечно, много времени я на это отдавать не могу, но лекцию-другую прочту с удовольствием.

И все другие дачники выразили свое принципиальное согласие. Образовали инициативную группу. Инициативная группа собрала общее собрание. На собрание пришло восемь человек, но причины были совершенно случайные: как раз в этот день в сельской

школе шел вечер самодеятельности, и многим интересно было его поглядеть, многие уехали в экскурсию. Решено было созвать новое собрание через неделю.

Утром журналистка лежала на пляже. Рядом с нею одевалась девушка с загорелым телом. Оделась, приладила к спине заплечный мешок, взяла рогатую палку. Спросила журналистку:

— Скажите, товарищ, есть тут в деревне библиотека-читальня?

— Есть. Только в большом беспорядке, поэтому книг теперь не выдают. Как раз собираемся привести ее в порядок.

И журналистка с одушевлением рассказала об обществе шефства над деревней. Дивчина сказала:

— День-другой я могла бы у вас поработать. Куда мне обратиться?

— Спросите в сельсовете секретаря сельсовета, он вам покажет. А вы здесь живете?

— Нет, иду из Феодосии.

У ней были короткие, невьющиеся русые волосы, светлее загорелого лица, нос немножко загнут кверху. Белая физкультурка, обши-

тая красным, шаровары, засученные до паха, крепко загоревшие руки и ноги. Сотни таких девчат можно видеть летом в южных домах отдыха. На вид ей было лет семнадцать, — такое у нее было молодое лицо. Но оказалось, она уже кончает вуз в Ленинграде и пишет дипломную работу по математике. Летом была на практике, консультантом-математиком на одном южном заводе. Накопила там денег и решила обойти пешком Крым, от Феодосии до Севастополя.

Пришла дивчина в сельсовет, спросила секретаря. Был он молодой парень с узким лицом и высоким лбом, в голубой майке, с низким вырезом на груди.

— Мне там на пляже сказали, что у вас есть работа в библиотеке.

Секретарь замялся.

— Есть-то есть. Только работа большая. Тысячи полторы книг в полном хаосе. Нужно привести в порядок. И потом... платить мы за работу не можем.

— Я вас про это не спрашиваю. Покажите, я посмотрю.

Секретарь ввел ее в боковую комнатку

с запертым пыльным оконцем. Раскрыл шкапы. Дивчина сейчас же достала пачку книг и, разговаривая с секретарем, стала ее разбирать.

— Да, работа не маленькая. Ну, хорошо. Поработаю.

И тут же взялась за работу. Это было утром. Часа в три сбегала на базар, купила помидоров и огурцов, съела с хлебом, это был ее обед. Проработала до ночи.

Секретарь с удивлением приглядывался к ее несуетливо-быстрой работе. Она коротко сказала:

— Спать я тут останусь.

— Ну где тут, что вы! Мы вам отведем комнату. Вы для нас работаете, вправе же вы хоть отдохнуть. А тут душно и пыльно, да и устроиться негде.

— На столе устроюсь. Не надо комнаты. А вот это я у вас попрошу. По карточке я получаю триста граммов хлеба. — И вдруг она виновато улыбнулась. — Никак на это нельзя быть сытой целый день. Дайте мне разрешение на шестьсот граммов. Это будет очень хорошо.

Секретарь понял: с монетами было у дивчины туговато; питается она, видимо, одним хлебом с помидорами; конечно, этак на триста граммов хлеба сытым не будешь.

Обещал вопрос насчет хлеба уладить. Она разостлала на столе плащ, вместо подушки положила заплечный мешок. Он пожелал ей доброй ночи.

С утра она уже опять работала. В соседней комнате секретарь производил регистрацию вновь прибывших дачников. Между прочим, две библиотекарши из Москвы. Дивчина наша услышала, вышла, попросила библиотечек зайти к ней. Объяснила, в чем дело, и предложила помочь. Говорила, а сама в это время резала бумагу для библиотечных карточек. После обеда библиотекарши пришли, и стали они работать втроем.

На следующее утро пришел секретарь в сельсовет. В библиотечной комнате шум, галдеж, смех. Заглянул. Сидят за столом восемь ребят-школьников и наклеивают ярлычки на корешки книг. Работают, как играют. Дивчина с серьезным лицом рассказывает им что-то смешное, и они хохочут. Приспособила к

работе также двух местных ребят-комсомольцев. Так было весело, что у секретаря грустно и сиротливо стало на душе; хотелось замешаться в эту веселую, кипящую работой толпу и с нею вместе работать изо всех сил и смеяться.

На третий день к вечеру все было кончено. Дивчина сказала, что завтра рано утром пойдет дальше, а сейчас отправится с комсомольцами кататься по морю на лодке.

Рано утром секретарь встал, чтоб проводить ее, подошел к сельсовету и видит: дивчина спустилась с крылечка с тазом грязной воды, выплеснула таз под куст дикой маслины и стала развешивать на перилах мокрые тряпки. Секретарь изумился. Что это? На прощание она еще вымыла в библиотеке пол!

Секретарь взволнованно глядел на нее и сказал сконфуженно:

— К сожалению, товарищ, мы не можем заплатить вам за вашу работу, у нас на это не отпущено средств.

— Я же вам сказала, — я и не прошу. До Алушты хватит денег дойти. А там устроюсь работать на виноградниках. Два рубля за

день. Проработаю с неделю, — четырнадцать рублей. Работу на виноградниках я знаю.

Секретарь подумал и сказал:

— Ну, хоть вот что: мы вам выдадим справку от совета, что вы здесь три дня занимались самой интенсивной общественной работой. Вы ведь знаете, такая справка очень сейчас важна, особенно для учащихся.

Она поглядела ему в глаза, засмеялась, махнула рукой и, с заплечным мешком на спине, зашагала по шоссе к Судаку.

Через две недели состоялось общее собрание членов общества шефства дачного поселка над деревней. Избрано было исполбюро в составе семи человек из наиболее активных дачников и крестьян. Через неделю собралось исполбюро, выбрало председателя, секретаря и постановило выработать план работ. Через две недели собрались снова, обсудили план и постановили: ввиду окончания лета и начинающегося разъезда дачников отложить работу до начала будущего сезона, а тогда взяться за дело с максимальной энергией.



# Примечания

# 1

Я вас прошу, не допрашивайте меня перед этими людьми (*франц.*).

[^^^]

## 2

The works of Shakespeare — «Сочинения Шекспира» (*англ.*).

[^^^]

# 3

L'État, c'est moi — «Государство — это я»  
(франц.).

[^^^]

# 4

Красота требует жертв (*франц.*).

[^^^]